

□ □ □ □ К. КОНИЧЕВ □ □ □ □



Т Р О П Ы
Д Е Р Е В Е Н С К И Е

РАССКАЗЫ



КТ 7085392

□ □ □ Вологод. А. П. П. „Борьба“ □ □ □

ВОЛОГОДСКАЯ
областная библиотека

Гублит № 1080. (Вологда).

Тираж 1500 экз.

Типография Полиграфтреста «Северный Печатник»

КОМБЕД ТУРКА

Недолго спустя после того, как из больших городов пронеслась революция над спящей старухой-деревней, когда с плеч стражников и урядника Вавилова в Печниковской волости были содраны погоны,—мужики вздохнули вольготнее и сами стали смекать, какое управление над собой нужно поставить.

Во-первых, декрет из города: «организовать комбед—из бедноты, буржуям чтоб ни шагу, и хлеб, который прячут, чтоб отбирать».

Такой декрет был послан и в деревню Попиху; мужики долго судачили, кто самый бедняк в их деревне, чтоб он комбедом был.

Если Ваньку Пиманкова? — Он не богатый, так слепой, а тут должность зрячая.

Если Николаху Берда? — Так у него корова есть, и лисья шуба у дочери, он не бедняк.

Кого же в комбед выбирать?

Тут на собрании сидел самый беднейший человек в Попихе, Алеха Турка-горбатый нос.

— Давайте, — говорит, — комбедом буду, беднее меня нету, — изба у меня — два кола вбиты да бороной покрыты, и скота — только кот кривой, да тараканов с лукошко наберется.

— Верно! Давайте Турку в комбед, — загалдели мужики, — давайте!

— Только как он писать станет? — усомнился один голос из-под полатей, — ведь Турка — неученый, ни бе, ни ме по грамоте.

— Пожалуй, оно верно, — согласились опять мужики.

— Ой, вы, тетери! — возгласил, выпрямившись со скамьи, Турка.

— Я не виновать, что по бедности неучен остался; дайте мне писаря — и дело поведем. Моя рука — владыка, а писарь будет писать то, что велю; поняли?

— Больше половины поняли.

— Кого писарем?

— Кого? — Костюньку Цыганова!

— Его, давайте его!..

Грамотнее Костюхи в Попихе не было, он оракул умел читать и часослов разбирал. Выбрали его писарем на пристяжку к Турке-комбеду.

— Ну-ка, комбед, попробуй хоть крестик на бумаге написать, — предложил новоиспеченный на собрании писарь Костюнька своему начальнику Турке. — Сделай вот метку на листе курительной бумаги.

Турка подвинул скляночку с чернилами из сажи, обмакнул перо, провел маленькую черточку вдоль, хотел провести поперек, — перо не выдержало, хрустнуло, одни рожки остались в ручке.

Мужики загоготали:

— Не годится такой комбед, он все перья переломает!

— А вот не переломаю! — стал уверять Турка соседей. — Я дюймовым гвоздем буду кресты вместо подписи подписывать, а Костюнька найдет себе перо и пусть пишет.

Тогда все присутствующие согласились.

— Управляй, коли, Турка, да политику знай туго.

— Из политики — не из оглобель, не выскочу, — заявил Турка и стал комбедом.

Из волостного совдепа бумажки за бумажкой по комбедам. В Попиху тоже бумажки с печатями — «Ры-Сы-Фы-Сы-Ры», и со словами:

«Согласно ленинскому декрету привезти из Попихи 10 подвод излишку хлеба и в два раза больше сена».

Была и такая бумажка:

«Собрать с Попихи с кажинного двора по 20 пар веников березовых и доставить в исполком товарищу Трошину». Для чего были нужны веники — неизвестно, со всей волости столько соберется, — куда их? Никто не знал. Зато в деревнях появилась ядовитая частушка:

«Коммунисты очесались.
Стали веников просить,
На крестьянина наложили
По двадцать пар носить».

Писарь Турки-комбеда Костюнька Цыганов читал бумажки из волости, большим хомутным шилом к стене их прикалывал и следил, чтобы дедушка не искурил этих «декретов». Вечером к нему приходил Турка, знакомился с потребностями «совдепа», диктовал своему писарю:

— Пиши: — «Я, комбед, по вашему прошению постановил единогласно со своим писарем послать всех деревенских баб ломать веники на совет, а касаясь хлеба лишков и сена лишков — все будет привезено, не сумлевайтесь, полностью».

В конце бумажки Турка по неграмотности чернилами ставил крест, немного меньше медного, который носил на своей волосатой груди.

Однажды, по распоряжению комбеда, в Попихе заупрямились двое сытых, крепких хозяев — Сашка Подживотик и Феклин зять Иван Приемыш. Заупрямились, не дают Турке разверстки, не слушают его, не везут хлеба в совдеп:

— Нету, — говорят, — у нас; все сами съели!

А какое съели, если по ночам в другие деревни возят и продают за «керенки» и николаевские билеты. Советские не брали.

— Эта власть, — говорят, — на два месяца.

Горе взяло Турку; с писарем своим декреты просматривал, постановление выносил:

— «Сделать у Приемыша и Подживотика обыск от подполья до вышки и в назьму порыться, найти хлеб да в совдеп отвезти заставить».

— «Ох, и тяжело делами ворочать, — вслух думал Турка при своем писаре Цыганове; — в деревне да тяжело, а поди-ка главным-то комиссарам, у-у, брат, спать некогда, верно сказано: — «политикой заниматься — не с бабой обниматься».

— Да, тяжело, но вывезем...

И вывозили.

Вечером, чуть стемнело, Турка Костюньке писарю на ушко:

— Бери листок бумаги, да зови Николаху Берда или Мишку Петухова в понятияе, да пойдем к паразитам хлеб искать, описывать и отбирать...

Рылись по закромам, лазали по чердакам, в навозе ковырялись, ездили на пустоши в сарай и там находили возы прятанного хлеба. Турка радовался:

— Все комбедово да совдепово будет, ничего вам за упрятанное не получить, — говорил он крепким хозяевам.

— Подавись, Турка, нашим хлебом и с комбедом своим, — выносили злобное пожелание потерпевшие.

Упрямый комбед Турка велел запрягать лошадей зажиточным и свой же хлеб в совет возить, приговаривая: — «за непрятанные излишки цену дадут, а что найдено схороненное, то без копейки уйдет»...

Беднота голодная тут как тут к Турке с поклоном:

— Помоги нам, надели, не пожалей «чужого» хлеба, мякину приели, да на семена нет ли? Дай, за тебя и за Ленина помолимся.

— Для таких, как вы, не жалко, — смеривал взглядом Турка соседей-бедняков, — знаю, у вас хоть зубы на полку. Ну-ка, Костюнька, записывай кому сколько!

После полуголодной зимы, весной по Печниковской волости тиф хватил. Говорили, что от заразных вшей все началось. Недаром в Попиху ленинский декрет тогда против вшивого нашествия поступил, рассыльный из совдепа принес. На собрании Костюнька его читал мужикам; комбед Турка пояснение от себя делал:

— Видите, братцы, правительство наше заботливое какое; как о нас печется: не только от неприятеля, так от вшей нас оберегает. Давите их всех, граждане, к ногтю, чтобы тифу не расплодили...

Турка развешивал большой плакат, где была изображена со множеством ног вошь, величиной с огурец.

— Вот, граждане, если во-время их всех не задавите, то начнут вырастать этакие; тогда не спасешься, всех прижрут, лапищи-то у нее, что есть, глядите!..

Мужики с опаской и пренебрежением поглядывали на плакатную вошь.

— Ничего, эта нажористо укусит!

— Тяпнет, так тяпнет.

— Почувствуешь...

— А нельзя ли на нее такую отраву найти, чтоб ноготь не марать, поди-ко клопа вонючее?..

— Откудова взялась такая?

— С фронту, говорят, привозят солдаты, — строили мужики свои догадки насчет тифозной вши. Только один старикашка-начетчик надел очки на глаза, да как взглянул на плакатную вошь, сразу определил:

— И не говорите, мужики, что вошь эта да с фронта; нет, нет, это и не вошь вовсе, а скорпион; — смотрите, у него две головы, с конца и с другого, как раз по Библии...

Мужиков навело на сомнение. Даже Турка не возражил, а сказал...

— Может быть.

Меры предосторожности против тифозной вши были приняты недостаточные. В Попихе за зиму и весну померло 23 человека. Люди боялись заразы, покойников неомытых, в рукавицах, вытаскивали из изб, увозили на кладбище, а после дровни оставляли в лесу, чтобы не привезти домой заразу. Комбед Турка и писаренок его Костюнька, вместо крестов на шее, носили теперь на толстых жгутах луковицы от заразы и подковные гвозди.

Этот «рецепт» от тифа прописала им ворожея Пиманиха.

Неизвестно, испортилась ли луковица, или потерял Турка ее со своей шеи, но подползла к нему тифозная вошь, прокусила кожу. Заболел Турка, заболела и его бабка Анютка-Глухая.

Пришла пора умереть комбеду; смерть не разбирает, — ей хоть поп, хоть комбед, или комиссар какой, все равно угробит.

Вышел Турка из избы выглянуть в сенцы, соломой покрытые, закричал на всю деревню:

— Умми-и-р-ра-ю-ю! пошлите ко мне Костюньку писаря.

А, когда тот пришел, Турка ему завещание сделал:

— Умру я, вот на ногах стоять уж не могу, спасибо косяк и зауголки поддерживают, — говорил он, заплетаясь языком и ухватившись одной рукой за косяк, другой — за угол своей хаты, — ну, вот, умру я, оставайся ты комбедом. Гроб у меня про себя и про бабу сделан, пусть свезут, кто жив будет. А тебя попрошу: похоронят — напиши на кресте:

— «Такой-то комбед похоронен, — по ленинским декретам за бедноту страдал и погиб от тифозной вши». Больше ничего не надо.

И ушел в душную хату, оставив перед сенцами, на талом снегу, Костюньку писаря одного в тяжелом, одиноком раздумьи.

Через три дня, утром рано, двое стариков вывезли из Попихи Туркино тело.

Изморенная куцая кляча Вани-Менуха остановилась с гробом, где за мостом пересекает дорога дорогу. Тут топором один из мужиков очертил кругом лошадь и дровни с гробом, перекрестились, поехали дальше.

Не вернуться Турке с того свету, чертой обведен...

* * *

Нынче в Попихе трещат на гумнах общественные молотилки, и шумят, раскидывая пыль и

мякину, ярко-крашенные веялки. Около соседней церкви галки стаями летают над могильными крестами. Там же на белой каменной ограде надпись: «По эту сторону схоронен комбед Турка».

На кладбище его, как комбеда, тогда не пустили.

ПРИКАЗ НА КРАСНОЙ БУМАГЕ

Товарищ Онучин, инструктор Усобеса,—был мокрешенек.

Его до ниточки промочило, когда он шел со станции Корешки в деревню Чистоподолово искать себе подводу для того, чтобы следовать дальше в командировку по служебным усобесовским делам.

Одежка на товарище Онучине не соответствовала слякотной осенней погоде. Ватный до колен пиджак насквозь прохлестало частым дождиком так, что он был не суше пастушеских портянок, которые были развешаны над печкой в избе сельского исполнителя Захарова Федота, куда и привернул товарищ Онучин, чтобы раздобыть себе лошадку ехать после дождичка в село Чарону.

От Чистоподолова до Чаронского вика без мала верст сорок; на километры в здешних местах расстояние не меряют, ибо местность, куда прибыл из города инструктор Онучин, по культурному уровню в пять раз ниже среднего, а дорога в Чаронский вик — одно недоразумение, а не дорога, — буерак на буераке, калья на калье, где чорт ногу сломит. Так что такую дорогу нет расчета мерить на километры, а сказано сорок верст,—ну, столько и есть, если больше—ваше счастье.

Погода была плохая, дорога—того хуже, лошадь и упряжка у сельисполнителя в такую

дорогу ненадежные, поэтому он отказался вести товарища Онучина даже «за большую сумму» поверстных. Отказался и сказал:

— Повез бы я тебя, товарищ усобес, без оговорки, ежели бы дорога была на сносях. Всего хуже нашей пустошью ехать: недавно у одного мужика тут лошадь в калье свалилась и закупалась, одной кожей с коняги мужик попользовался; а мое дело бедное, лошадь свою я берегу, а потому не поеду, ступай пешком.

Конечно, пехтуром товарищу Онучину тащиться немыслимо, лучше, во что ни станет, лошадь найти и ехать. Ведь одни хромовые сапоги на ногах. Онучина чего стоят.

— Нет, найти лошадь выгоднее будет, — решил он, — только вот, верно, кто поедет? Всякому лошадь жалко. Тут он стал что-то соображать и неожиданно спросил сельского исполнителя:

— Сколько у вас работоспособных в деревне?

— Работающих — так не знаю сколько, а дворов тридцать восемь, а ты считай сколько хошь.

— Так, — как будто бы подтвердил Онучин и опять спросил: — Много у вас такой дороги к Чароне, где бы вот лошади могли тонуть?

Федот Захаров перебрал в памяти всю сороковерстную дорогу и доложил:

— Да так верст около пяти в нашей пустоши и прогоне...

Товарищу Онучину неудобное место езды на пять верст, как сказал сельисполнитель, при наличии тридцати восьми хозяйств в деревне Чистоподолове, — ничего не значило. Переговорив еще с Федотом-исполнителем насчет нравов чистоподоловских мужиков, осведомился о их предприимчивости, инициативе в общественных делах и о том, не уклончиво ли население от

тех распоряжений местной власти, которые толкают крестьян на что-либо полезное для себя и государства вообще...

На что со стороны сельисполнителя последовал ответ:

— Как сказать, мужики у нас того, ленивы друг для друга, знают свои полосы на поле и только,—а то, чтобы делать сообща запашку или что другое, их на это можно соблазнить ведеркам двум самогона, да еще заставить пре-строгим приказом.

В знак согласия товарищ Онучин закивал сельисполнителю головой и предложил с ним действовать заодно, для того, чтобы привлечь всех трудоспособных граждан деревни Чистоподолова на поправку никуда негодной дороги по направлению к Чаронскому вику. Сельисполнитель на этот раз был податлив, ничего против не имел, даже поинтересовался, как это можно раскатать наших односельчан, и высказал предположение:

— Ежели в срочном виде, то на сутки всей деревне и дела тут; лес рядом, мосты мостить есть чем, только мужиков построже надо приказом, а добрым словом их не проймешь: все они упрямы, как зауголки у моей избы.

Приедем к товарищу Онучину ни о чем не оставалось рассуждать. Языками чесать по зубам нечего, надо дело делать, время не терпит.

Тут он вытащил из серого брезентового портфеля большой лист красной бумаги, сделал из химического карандаша чернила, так как у сельисполнителя их не было, и начал писать на красной бумаге большими буквами: «**ПРИКАЗ**». У Федота Захарова голова, можно сказать, не бестолковая,— он сразу сметил выдумку

товарища из Усобеса и вынес от себя дельное предложение:

— Пиши, что от военного ведомства пушки будут перевозить этой дорогой со станции Корешки; тогда скорей мужики выйдут поправлять дорогу.

Предложение как раз кстати, оспаривать его незачем, в результате под словом «приказ» появились одна за другой твердые строчки:

— **«Строго предлагается всем гражданам обоего пола — деревни Чистоподолова мобилизоваться на поправку дороги при своих земельных участках, на пути к вику, замостить все выбоины и буераки сгладить. В ближайшие дни по этой дороге будут перевозиться тяжелые орудия, а поэтому, с целью помощи военному делу, в частности Осоавиахиму, выйти всем гражданам в 8 ч. утра с лопатами и топорами на дорогу и к вечеру того же дня привести в порядок»...**

Ниже значилось сегодняшнее число и подпись—«военное ведомство».

Составленный для большего внушения на красной бумаге приказ был вывешен на заколоченных дверях старой часовни, что посреди Чистоподолова, и всем гражданам о своевременном и серьезном значении этого приказа было объявлено...

Некоторые граждане, не предусматривая особой строгости в приказе, где бы говорилось о наказании за неисполнение, решили сделать вид, что они о приказе ничего не слышали и выбрались на денек по своим делам кто куда.

Большинство мужиков и баб, так человек около восьмидесяти, не смели перечить приказу, тем более, деревней и по дороге повезут пушки, кому не интересно посмотреть?

На утро, еще Онучин не успел проснуться, когда на его часах было шесть, а по солнышку, может быть, восемь, сельисполнителя дома уже не было: ушел руководить ремонтом дороги.

Работа шла успешно и поспешно.

Кто воду в канавы с дороги отводил, кто мостики сооружал, дерном да фашинником выбоины заваливали. Слышалось истовое подбадривание со стороны сельисполнителя по адресу работавших:

— Вот так, старайтесь, граждане, покрепче утаптывайте, чай не телегу с навозом повезут, а пушки, артилерия маневры поедут...

Мужики и без того старались; раз военное ведомство приказало, то это не сельсовету чета, работай, знай, без оглядки.

К вечеру все было исправлено, сглажено; где нельзя было раньше ни пройти ни проехать, там хоть шар кати.

К концу работы вышел из Чистоподолова Онучин, мужиков встретил, труды ихние похвалил, подошел к Федоту исполнителю, благодарность сказал, а тот от себя спасибо ему говорит:

— Ежели бы не твой приказ, век бы тут нам колеса ломать и лошадей увечить; спасибо, что наших мужиков приказом так расшевелил, а то бы для себя они нипочем не стали дорогу мостить... Теперь, не угодно ли, и отвезти могу,— предложил Федот товарищу Онучину.

Но тот вежливо отклонил предложение, сказав Федоту и мужикам на прощанье:

— Вы идите домой, и я своей дорогой; пусть вам не покажется, что для меня старались, а для себя вообще; я не из благородных и пешком дошлапаю.

Сказав это, поджал брезентовый портфель подмышку, пошел восвояси.. Мужики, закурившие после работы, переглянулись, как бы спрашивая глазами о чем-то друг-друга, строго посмотрели ему вслед. А, когда опомнились, спросили сельисполнителя:

— Это он выдумал приказ-то?.. А пушки-то повезут?..

Сельисполнитель, довольный работой, молчал и улыбался. Один из мужиков сострил:

— С пушками-то, оказывается, нас «на пушку» взяли: жаловаться бы на проходимца-то этого, вишь подвел, что-те пристав какой, всех на дорогу выгнал.

* * *

Приказ на красной бумаге, в виде мелких клочков, валялся на траве у часовни; его изорвал сам Онучин перед тем как уходил из деревни... Теперь от Чистоподолова прогоном на Чарону—дорога гладешенька.

К Л О П Ы

Ночевал у Флегонта Карпыча какой-то странник. Ночевал и обиделся:

— Ну, Карпыч, и клопов у тебя. Столько развелось, прямо спать невозможно!

Странник показывал свою рубаху, сплошь покрытую красными пятнами от раздавленных клопов.

— Ничего с ними не поделаешь. Расплодились так. Меня вот не кусают,—говорил хозяин— Может и кусают, да не слышу. Ежели человек крепко спит, его пусть собака укусит, он и то не почувствует.

— Тебя, старого, ни чорт не укусит,—вмешалась в разговор хозяйка Платонида.—Ведь от людей нехорошо. Экой, подумаешь, скотинкой наградил нас господь. У нас ведь две девки невесты. Посмотришь иногда: то у Анки, то у Польки на юбках клопы раздавлены. Мы-то знаем, что клопы, а чужой человек всяко подумать может. Скажут: девки невесты, а неопрятны.

— И сотворил же бог на что-то клопов этих!—вздыхнул хозяин.

— Не гневи бога,—заметил ему странник,—бог тут не при чем.

— Ну, как не при чем?!—с видом порядочного знатока произнес Карпыч.

— Был, скажем, Ноев потоп. Лет тыщу назад, ну и больше, скажем. Зачем же Ной напустил в ковчегу этих животных? Выта или блоха, та.

7085392

В. ГОД

ос. олка
им. ... В. Бабушкина

скажем, у Ноя от грязи завелась, а клоп—это другое дело, его не надо было в ковчегу пускать.

Странник, желая показать, что он больше Карпыча знает, говорил:

— Господь умудрил человека все знать. С разумом человек знает, откуда клопы пошли, и как их переводить надобно. Клопов никакой мазью, ничем не выведешь. Одного они только и боятся..

Платонида все время прислушивалась, потом спросила:

— Чего они, родимый, боятся? Скажи, не можем ли мы их вывести?

— Не легко это, а научу. Надо, чтобы никто не знал.

— И не узнают,—уверяла Платонида.

— Мне так даром,—говорил Карпыч,—пускай живут, меня они не кусают.

— А нам не даром. Заплатим страннику, что надо, а выведем,—настаивала Платонида, и ее поддерживали дочери.

На сарае в кладовой, где сложен всякий скарб у Флегонта Карпыча, странник вместе с хозяйкой совещание устроили:

— За двои портки научу, как вывести клопов, только, чур, никому не говори об этом способе.

— Ладно, не скажу. Не жаль, этого добра хватит. С мужа погодятся тебе?

— Погодятся, только дай покрепче которые.

— Бери,—и Платонида передала страннику двои мужнины портки.

— Так вот, по три зори вечерние, по три зори утренние, возьми, попроси двух девок невинных кругом вашей избы на четвереньках проползти, а ты, Платонида, в избе сиди. Одна из них пусть, заходя в избу, скажет:

«Мы, девушки. в дом».

А ты найди живого клопа,—у вас их много,—и брось девкам навстречу, ответь:

«Вы в дом, так клопы вон».

Так по три зори утренние и по три зори вечерние. И клопов как водой смоем,—помяни меня.

— Неужели им только и надо?

— Только, да не медлите.

Странник, получив подаяние за свое «научное» наставление, обещался через недельку навестить и ушел.

* * *

Время было уже позднее, в деревне все легли спать, только в избе у Карпыча беспокойство. Две девки Платониды, дочери, как их научила мать, одна за другой ползали вокруг своей избы.

— Мы, девки, в дом!

— А вы, клопы, вон!

А Карпыч с полатай:

— Што это за проскомидия? Долго ли спать не ляжете?

— Клопов выводим, как странник учил. Ежели две невинные девки на карачках обойдут кругом дому по шесть зорь, тогда и клопов не будет.

— Дожидайся, не будет; может, девки-то попорчены. По ночам, с праздников до утра, как лошади, свободно разгуливают. Без всякого уйму. Погодите, вот клопы скажут, которая из вас до замужества не утерпела.

Мать заступилась:

— Полно, отец экую худобу про девок говорить. Как не стыдно!

— Ой, уж у нашего отца да стыд какой-то,—в один голос сказали Анка и Полька.

А Карпыч опять, не сходя с полатей и высунув оттуда голову:

— Погодите, вот узнаем, кто бесстыдный: я или вы.

Прошли три зори вечерние, прошли три зори утренние. Клопов у Карпыча не убывало. Чиркнет ночью Платонида спичку, посмотрит за печкой в щели, да так и ахнет.

— Ужели девки не честные? Не убывает клопов, не убывает,—а Карпычу Платонида говорит:

— Меньше ведь за раз стало, как оползли девки избу по шесть-то зорь.

— Дай-ка, я взгляну,—сказал однажды отец.

— А что тебе?.. Тебя не кусают, нечего и смотреть.

— Надо правду о девках узнать. Я ведь им отец, а не кто иной.

Девки по избе ходят, егозятся, как да от отца попадет. Карпыч лучинку зажег, за печкой и на потолке клопов считает.

— Вот так убывает!—и на Платониду ругаться:

— Ты что это, такая-этакая, девок от меня укрывать вздумала? Потакаешь им?

На дочерей Карпыч с чересседельником и давай по чему попало охаживать ту да другую. Девки визг, рев подняли.

— Тятя, отстань, ни разу не бывало этого. Хлещет чересседельником отец, приговаривает:

— Сказывайте, когда дело было?

— Тятенька, никогда.

— Говорите, а не то застегая. Когда удосужились? Где? Аль не думаете пустыми-то башками, как брюха нарастут у вас в девках?

Чересседельник свистел в руках у Карпыча. Мать стояла в углу и ругалась:

— Отстань, дурак, девок-то зря бить. Отстань. может другое што тут виновато... Отстань!.. Карпыч не унимался.

Девки не то от боли, не то от обиды ревели на всю избу.

Неизвестно, долго ли порол бы их отец, если бы не выпал, как снег на голову, тот самый странник, который учил Платонида клопов выводить.

— Мир вам, хозяин с семейством.

У Карпыча руки с чересседельником повисли.

— Из-за твоего наставления девок-то хлещу. Клопы не выводятся. Наверное, порченная котоя-нибудь из них.

Девки, протирая глаза, твердили:

— Руки бы у тебя отсохли. Ни разу у нас «этого» не бывало.

— Верно, они тут не виноваты,—заступился странник.—Мать ихняя не ладно сделала, ну, и пропало все из-за нее.

— А что?

— Рваные портки мне подсунула, да одни еще и без пуговицы.

Платониде от Карпыча попало по затылку и по зубам.

Анка и Полька успокоились.

СОСКА

Больно разобиделся Прокоп на Никольского дьякона Варсанофа. И еще бы: ведь дьякон на глазах самого Прокопа в «Христов день» пять раз под ряд похристосовался с Прокопьевой бабой Палахой.

У дьякона—губа не дура.

Другая баба пяток яиц даст, да если на лицо не хороша, то он однажды заденет губами до бабьего рта и отскочит, как от каленой плиты, торопливо произнося: — «Воистину воскресе». А вот с Прокопьевой Пелагеей за одно яйцо не меньше пяти раз облобызался. По губе видно Палаха дьякону.

Прокоп ворчал:

— Как лохматому дьяволу не стыдно при мне на мою бабу лезть, так целоваться?

Сердце Прокопьево злобой, давило.

— Жеребьячья порода, небось вон старуху тетку не поцеловал эк забористо.

— Станет ли он меня?—обидчиво проговорила из угла дряхлая тетка;—батюшка два разка поцеловал, а дьякон для близиру прислонился разок только.

Палаха с ребенком на руках, довольная дьяконом, смеялась:

— У тетки губы, как кубышка, хы-хы-хы, не поцеловал ее, хы-хы-хы.

— Смешно тебе, солодяга. Небось, рада?!

Палаха на зло Прокопу:

— Рада; ты не умеешь эк, как дьякон, хы-хы-хы. Прокоп рассердился...

Поп и дьякон в другом конце деревни из избы в избу сновали, пасху пропевали, целовали баб и загребали крашенные яйца...

С этой самой пасхи с Прокопом большая перемена. Раньше он в церковь часто ходил, наперед вставал, слушал всю обедню, не сходя с одного места. Всего больше нравилось Прокопу, как дьякон рычал многолетие,—за душу прихватывало.

Теперь не то.

Имея злобу на дьякона, Прокоп стал реже посещать церковь. А если когда и заглянет в большой праздник, то не впереди встанет, а у самых дверей. И, чуть услышит голос дьякона, вместо того, чтобы набожно в этот момент перекреститься, Прокоп белыми плевками пятнал пол около своих ног.

Однажды Палаха сговорила Прокопа свозить ее с ребенком в церковь к обедне. Ну, тогда Прокопу и совсем некогда было молиться; он через головы других богомольцев следил за своей женой и очень, кажется, хотел, чтобы не встретились взгляды у Палахи с дьяконом.

Обедня подходила к концу. Бабы с пискливыми ребятенками лезли к алтарю, становились загогулинами вдоль и поперек пола в беспорядочную очередь, ждать, когда поп начнет причащать детей.

Поправив платок на голове и завернув в одеяльце ребенка, шаркая длинным подолом об пол, продвинулась впереди и Палаха. Она остановилась у светлого подсвечника и большой иконы «всех скорбящих». Позади, шамкая беззубыми ртами, молились старухи. Пахло ладаном и провонявшими пеленками.

Ребенок на руках палахи жалобно пищал, выражая протест против причастия. Пелагея ребенку соску в рот,—все равно плачет. Тогда она соской о подсвечник долбит, тешит ребенка, с напевом тихо приговаривает:

— Поп дурак, поп дурак, попу соски не дадим. — И снова: — Поп дурак, поп дурак, попу соски не дадим...

— Тело христово прими-и-ите...

Сзади бабы с ребятишками нажали, и Палаха с ними вместе, да соску незаметно и уронила. Причастила плачущего ребенка, в одеяльце завернула, отцу у дверей подала в руки.

— На, Прокоп, поддержи. Я просвирку и поминальник достану.

— А где соска? Чем его растешу?..

— Ой, где же я ее обронила?... спохватилась Палаха.

— Не иначе, у причастия...

И пошла разыскивать соску к решетке, где дьякон стоял.

Прокоп за ней досматривать от дверей немного вперед шагнул.

— Отец дьякон,—спросила Палаха Варсанофа, ты все время тут топыришься, не видел моей соски?

Дьякон, увидев перед собой краснощекую бабу, улыбнулся широко, не жалеючи рта на улыбку.

— Твою соску, говоришь? Хе-хе-хе!

— Вон она!—И Варсаноф своей пухлой пятерней игриво цапнул за выпуклую грудь Палаху.

Прокопа по голове точно обухом хлестнуло. Чуть ребенка с рук не уронил, даже забыл, что в церкви находится, потому крепкий матюг отпустил с языка. Богомольцы, поблизости стоявшие, переглянулись;

— Кто это, кто так?

Староста подошел к Прокопу, сказал предупредительно:

— Не место здесь сквернословить,—удались...

— А ему место здесь за запретные места чужих баб лапать?

— Кому ему?

— Дьякону вашему, вот кому,—косоплетке Варсанофу.

С соской в руке подошла Палаха, взяла ребенка и, улыбаясь, говорила:

— Больно уж ты ревнив, Прокоп. Что уж, и не тронь меня никто. Эко диво, дьякон пошутил нарочно...

— Пошутил... Я вот тебе, солодыге, покажу, как шутить.

Дьякону погрозил:

— погоди, бабник душнолапый, я те не спущу. Не хошь ли к моей Палахе подсвататься, как бывало к Агнише Соколихе, с которой дьяконица тебя на погосте застала?

Руки у Прокопа, как чесоткой, зудило,—так бы и плюнул дьякона по харе.

— Эх, это бы да не в церкви, ей богу, шарнул бы его, жив не ушел бы...

Дьякон, ни на что не обращая внимания, гнул савил что-то божественное.

А Прокоп, как только вышли на паперть, строго Палахе сказал:

— Не побываешь ты у меня больше ни разу в церкви.

— Ой ли уж?...

— А вот те «ой»,—есть кого там и без тебя дьякону щупать.

Палаха надулась и молча совала ребенку в рот соску.

СВОЙ ЧЕЛОВЕК

I

Сорок два домохозяина в деревне Шумилове, что за бугром у речки Меленки на один посад раскинулась, не раз собирались, толковали, шум поднимали, а все насчет скотского выгона.

Живут шумиловские мужики сами по себе хорошо, на деревне животин сто с гаком скота имеют, а поскотины своей нет, даже пастухи перестали в Шумилово поряжаться, пришлось в очередь деревней скот пасти. Коровы да телята полуголодные, как бешеные, в посевы на грех лезут.

Вот уже четвертое собрание мужики на улице у часовни устраивают,—о поскотине хлопотать думают.

Сельский исполнитель Тереха выругал отборными словами всех вообще.

— Я вас долго ли, сукины сыны, буду собирать? Какой толк зря зубы чесать? Поскотина нам нужна? — Нужна. Надо хлопотать перед властями окончательно.

Тут встал из середины собравшихся старик лет шестидесяти с полуседой бородой, похожей на клин, сам жилистый, и сказал:

— Давно я вам говорю, мужички, у соседей-то в Опарине на двенадцать домохозяев поскотина, а у нас на сорок два нетути. Рази это закон по-ннешнему?

— Ты, Ефим, не дело говоришь,—высказался другой мужик,—ведь нельзя у опаринских последнюю поскотину хапнуть, законов нет таких.

— Я вам говорю законно: нас больше, да и поскотина ихняя клином к самому Шумилову подошла.

Зашумели мужики, один—так, другой—этак, а договорится никак не могут.

— Господа граждане! Я ума не приложу, какой порядок на собрании, если все галдят, как воронье над падиной. Слушайте, что я скажу,—кричал сам исполнитель.

— Мой совет такой: у нас у деревни четыре пустоши, давайте одну из них на поскотину огородим.

— Што пустошь, говоришь? Да разве у рук она нам? До самой ближней три версты отсель огород-прогон городить надо.

— Нашел тоже сказать...

— А вы думаете у опаринских завладеть? Ничего не выйдет, законов нет на это.

— Вреш! врешь!—набойчиво кричал зажиточный мужик в забеленном мукой кафтане, Потап-мельник.—С умом дело делать, да деньгу в ход пустить, закон всяко изогнуться может, а главное нам хлопотать рука.

— Как рука?

— Кто тебе поможет опаринских обижать?..

— Никакой обиды; их двенадцать, а нас сорок два домохозяина.

— Знамо, тут нет обиды; закон на нашей стороне,—послышалось зараз несколько голосов.

— Тише, тише, дайте мне до конца сказать,—опять начал Потап-мельник.

— Я говорю, что с голыми руками хлопотать неча и начинать; надо рубля по два собрать

с дому в земельную управу, то бишь УЗУ по-
нонешнему; там у меня свояк выдвиженцем за
главного воротилу служит;—свой человек, по-
нятно, так обстряпает, комар носа не подточит,
а для того, чтоб хлопоты шли, как по маслу,
надо не пожалеть рублишка по два со двора
собрать, ведь это для самих себя, поскотина-то
во как нужна...

Переглянулись мужики, посмотрели друг на
друга, как-будто желая глазами узнать, сколько
найдется согласных на предложение Потапа.

— Ну, что языки-то прикусили? По два рубля
жалко собрать, это с деревни сотни не сойдет,
а поскотина рази этого стоит, эх, вы-ы!..

— Сваяк-то у тебя там за главного? Может
ли он?—недоверчиво спросил тот мужик, у ко-
торого борода клином.

— Да, он один старший по земельной части
надо всем уездом; а человек-то деловой, даром,
что из мужиков; ему стоит только бумажку
к нам в камитет на село черкнуть: «принадле-
жит, мол, такая-то поскотина шумиловским
гражданам, раз им поблизости»,—во и готово!

— А дарма ему почему бы не устроить, раз
свой человек тебе; поди-ко жалование получает
в сутки, что нам трем мужикам на лошадях
в день не выпахать; куда ему с деньгами?

Тогда Потап сказал:

— Какие вы, право, мужики; вам бы с печи
упасть, а заду не ушибить. Кому-то для нас
даром охота стараться; я, братцы, порядок этот
туго знаю, дело хлопотливое.

— Это верно,—стали соглашаться кое-кто из
мужиков,—без денег везде—худенек, и тут тоже.

— Верно-то верно, да по два рубля много
будет.

— По рублю со двора хватит!—крикнул сидевший позади всех на бревнах невзрачный мужиченка Миша Капелька (его в Шумилове так прозвали за маленький рост).

— По рублю хватит!..

— Хватит по рублю! — поддерживали все остальные.

Как ни настаивал Потап собрать для своего человека по два, или хоть по полтора рубля, мужики настояли на своем, по рублю с домохозяина.

Постановили, стали расходиться.

— Стойте, стойте, куда вы?—взял слово исполнитель.—Эй, Николаха! Карп! Дядя Пимен! Обождите маленько, не расходитесь, решим окончательно.

— Чево еще? И то решили.

-- А кого до городу хлопотать насчет поскоотины пошлем?

— Кого? Пусть Потап мельник орудует, у его там свой человек сидит.

— Потапа мельника? Ладно. Кто за его, поднимите руки кверху.

-- Раз, два, три, пять, девять, почти все, опустите руки.

— Так мы Потапа; ступай, Потап, орудуй, да половчее там около свояка; если уладишь, зови в гости на праздник, мол шумиловские мужики угостить не поскупятся.

II

Сваяк Потапа-мельника Алексей Жохов, крестьянин-выдвиженец, рыжебородый с расчесанными волосами, сидел у себя в канцелярии за дубовым желтым столом, разбирал бумаги, писал что-то на углах листов красными чернилами,

клат бумаги в кучу на край стола, а которые поважнее—передавал делопроизводителю, сидевшему за другим столом около большого шкафа; тот тоже что-то приписывал на бумажках и носил их в соседнюю комнату машинистке, сидевшей за маленьким столом при входе в земельную канцелярию. Машинистка вычеканивала выписки и отношения и после каждой отпечатанной строчки оглядывалась в раскрытое окно на улицу, глазела на проходившую публику, а чаще всего на большие часы, висевшие в окне у часового мастера, против земельного управления.

Мельник Потап отшлепал от деревни до города двадцать верст, остановился у крыльца уземуправления, вытер пот на красном лице, подумал: «Или в управу к свояку идти, или на фатеру к ему?—Лучше сюда»,—решил Потап и поднялся по лестнице наверх.

— Барышня, мне бы свояка выдвиженца увидеть, где тут?—грубо спросил Потап мельник, войдя в первую комнату.

Машинистка, отвернувшись от окна, обвела глазами Потапа и тоненьким голосом, смеясь, спросила:

— Какого свояка? Товарища Жохова Алексея Павловича, что ли?

— Да, его самого.

— Пройдите вот в эту дверь.

Потап, сняв измятый картуз, закинув руки назад, тихо прошел в кабинет заведующего.

— Вот он где!—воскликнул Потап и протянул свояку руку.

— Здравствуй, Алеша.

— Доброго здоровья, прошу садиться,—ласково сказал Жохов, указывая на старый диван, обитый кожей.

— Ты по делу пришел?

— Да, можно сказать, делегатом от своей деревни, хе-хе-хе, насчет поскотины думаем похлопотать.

— Так в чем дело?

— Я те, свояк, как своему человеку, все досконально поясню; только ты нас улюботвори, не откажешь?..

Жохов усмехнулся и ответил пословицей:

— Дружба — дружбой, а служба — службой; ну-с, поясняй.

— Мы, знаешь, — начал Потап, — шумиловские сорок два домохозяина не имеем скотного выгона, а опаринские двенадцать домохозяев и то имеют; вот и надо на «законном основании» отобрать у них, поскольку эта поскотина подходит к самой нашей деревне, и поскольку вы свой чело...

— Я этого тебя не спрашиваю, — строго не по-свойски произнес Жохов, так что Потап на диване отодвинулся и подумал: «зазнается, надо момент не терять, заткнуть ему глотку-то».

— Документы, или бумаги на этот предмет есть от сельсовета или земельной комиссии?

— Как же, порядочки знаем.

Подозрительно посматривая на делопроизводителя, Потап подал свояку пакет с деньгами, собранными с мужиков, тихо сказал:

— Вот это, Алексей Павлыч.

Тот развернул конверт, впился глазами в Потапа.

— Что бы это значило? Деньги, — взятка, значит?

— Нет, нет, какая там взятка: как своему человеку, я настоял за хлопоты это с деревни собрать. Не откажитесь принять, да дело-то нам устрой, Алеша...

Делопроизводитель, все время работавший, ничего не подозревая, поднял голову, усмехнулся.

Алексей Павлыч егозил на стуле.

— На, возьми обратно деньги, — сказал он, — снеси мужикам и скажи, что власти нынче взятки не берут, мол не прежнее начальство. Ступай отсюда, мы таких не принимаем.

— Пригодились бы, Алеша, зря не берешь, сорок рублей — деньги не маленькие, а тебе что стоит пером черкнуть! Удружи нам.

— Я тебе говорю, уходи.

— Ну, коли так, то и...

Как горох от стены, отскочил Потап от свояка выдвиженца, а домой пришел — все рассказывает:

— Нельзя нашего брата на власть садить; вот у меня свояк в деревне душа-мужик был, попал выдвиженцем в управу — «забюрохватился». За сорок рублей с человеком разговаривать не хочет, во какой стал. Я ли вам не говорил, граждане, давайте, соберем ему, Жохову, по два рубля с дому, так нет, вам жаль. Тогда бы он все дело в один миг повернул.

ТРИ ГЛАЗА

Степке Перевязкину самолучшие годы. Последнее лето до призыва гуляет. Да как еще гуляет!.. Случись праздничек, гарможень ремнем через плечо, зачалит и пошел.

Десять верст — так за десять, двадцать — так и за двадцать уйдет и по целой неделе гуляет.

До девок парень неохоч, да и симпатией не пользуется: мордovorотом, говорят, неугож вышел. А просто любит Степка на гулянке пьяным себя показать, ну, и шляется. Драка ли где затеется, Степка тут обязательно за товарищей сунется, а товарищи у него — кто бойчее, тот и товарищ, одним словом, чья в драке верх взяла, он на той стороне.

В прошлую весну на Николин день Степка «гостил» и гулял у ребят в Никольском, а на Успеньев день их к себе отгуливать пригласил:

— Приходите, ребята, пироги будут, и встелечку напою.

— Смотри, не обмани, а то ноги тебе выдержаем, — говорили ребята на приглашение Степки.

Вот и Успеньев день ближе да ближе к Перевязкину прется.

Внутри Степки кошки когтями за сердце дерут, в уши что-то нечистый нашептывает: — «Праздник-то чем встретим, если у тебя, как у турецкого святого, пуп да трубка? В кармане — вошь на аркане, в сусеках — хлеб вихрем вымело. Праздник, как у людей, не справишь.

Задумался Перевязкин, смекает, чего бы можно замотать и пропить ради Успенья пресвятой богородицы.

В доме ничего, кроме слепой матери и кривой сестры Агашки. На дворе есть коровенка, вся в навозе перевалилась, такую и продать не жалко. Мать с Агашкой запрет на продажу коровы наложили: — Свою наживи и проматывай.

Обе плачут:

— Руки прочь, Степка, не от своей коровы!..

Пришлось идти с поклоном к Егору-Менуху.

— Червончик бы подзанять у вас, дядя Егор. Выручите из беды, на Успенье прошу.

Менух-Егор такой скряга, у него зимой снегу трудно выпросить. Легче ему приняться лечить свои гнилые зубы, нежели займы дать; тем более Степке,—плательщик аховый, ненадежный.

Лицо у Егора шершавое, сурьезное; посмотрел он на Степку, как на пустое место, без всякого различия. Отказать от денег прямо не хочет, душой кривит:

— Сам без копеечки живу.

— Ну, мыслимо ли ты—без копеечки?—не поверил Степка.—Дай, ведь не пропадет, отработаю после Успенья, молотить у тебя стану.

Видит Менух, не отвяжешься от Степки,—пристал, как лист от веника в бане пристаёт к телу; подумал, поглядел испытующе на парня, полушопотом сказал:

— Дам, только при условии: сначала поди дверь на крючок запри — вот так. Ну, а теперь...

О чем-то таинственно поговорили; Егор руку Степке протянул, добавил вслух:

— Десять я тебе даю за работу и десять за молчание. Двадцать рублей тебе на праздник—не баранья рожа; ну, так понял?

— Понял,—лениво промямлил Степка и переспросил:—завтра ночью к сеновалу на пустошь?

— Да, но смотри, аккуратнo..

Разговор этот, скажем, был вечером, а на утро бабы у колодца между собой в «устной газете» новостями хвастались:

— В нашей-то вотчине ворье появилось: у Ефима Костыгина со двора ночью кобылу уперли.

— Да кого же угораздило?—Кто это украл?

— Знамо, вор украл, рук и ног своих не оставил.

— Вот-те Ефимова кобыла, больно добротна и была!..

Егор-Менух—мужик со смекалкой; он знает, что Степка—не вор; если лошадь украдет, никто на него и не подумает, легче след замести. Потому-то он и решил на этом использовать охочего до праздников Степку.

Хотя и без привычки, но лошадь украсть Степке не представлялось трудным. Ночью, когда деревня, ничего не подозревая, спала, даже ни одна собака не тявкнула, Степка робко зашел на двор к Костыгину, вывел за недоуздок кобылу, сел верхом и, оглядываясь назад в ночную темь, быстро погнал ее в условное место.

У сеновала на пустоши Егор-Менух парня с краденой кобылой поджидает.

Подъехал. У Степки сердце прыгает то вниз, то кверху,—вырваться хочет, да не может. Робеет парень и двадцати рублям радехонек.

Менух, тот не трусит.

— Сейчас-то я сам,—говорит,—все схлопочу, верст за семьдесят к цыганам перемахну а у тех ищи ветра в поле. В другую губернию спроводят.

Степке завидно становится.

— Поди сотню с гаком огреешь за нее?

— Не меньше. А тебе какое дело, чай заботы мне не с твое? Смотри, никто тебя с лошадыю не приметил?

— Нет.

— То-то, зайди потом к Костыгину да подвыведай.

— Ладно.

Лошадь Ефимову, как по этапу, Егор погнал дальше...

Накануне праздника, отведав самогона-первача, который от спички, как спирт, загорается, Степка набрался смелости, пошел в разведку к Ефиму Костыгину.

— Жалко тебя, Ефим, лошадку-то, — лучшая по деревне, — сперли.

— Худую не обрадеют взять, вор тут должно знакомый.

Бойтся Степка, на правду чего бы похожего не сказать.

— Ты бы в милицию, — учит он Ефима.

— Знают уж там; что толку? Думаю еще к Федоту знахарю сходить, тот больше знает; снесу кусок холста, авось вора в лице покажет, кто сейчас моей кобылой владеет.

— А, думаешь, верно, не туман в глаза?

— Чего, про Федота-то? Да он получше сыщика Ната Пинкертон.

Ушел Степка от Ефима, лизнул еще из двух стаканов и ног под собой не чувствует. А в голове мысли настойчиво пляшут:

— «Что будет, если Федот и верно в лице меня с краденой кобылой покажет, — тогда мне и Успенье хуже будня покажется. Нет, не быть по Ефиму Костыгину, пока не поздно, пойду уговорю знахаря».

Недолго думая, конокрад смылся за три версты в другую деревню.

Постучал в курную крайнюю избушку. Федот пропустил его. Пьяными глазами Степка нащупал на стенах с запущенными ликами старые иконы, а вокруг них не то веники, не то пучки сена—сушеной болотной травы развешаны. Сам Федот, босой, в синих полосатых портах и такой же рубахе, ни весть чем был занят; вопрошительно взглянул на пришедшего к нему Степку. Последний, стараясь не показать себя пьяным, пошатываясь, достал из кармана бутылку перегона, сказал:

— К тебе по сикрету, дедушка. Ефим Костыгин не совался к вашей милости?

— По кобыльему делу?

— Да.

И Степка почему-то почувствовал, что у него щеки стали горячее; он подумал: все видно, этот старый прорва знает. Упрашивать начал:

— Прошу тебя Христом богом, и бутылкой этого перегона стенолаза, будь добрый, не говори и не показывай Ефиму, если он придет, что я у него кобылу угнал и отдал за 20 рублей Егору-Менуху для перепродажи. Улыбнулся беззубым ртом Федот, глаза лукаво прищурив, бутылку с зельем принял от Степки, за печку сунул. Только и мог сказать:

— Не сумлевайся.

Но легче знахарю дюжину живых лягушек проглотить, а не умолчать об открытии кражи,— это же для него слава. Не дожидаясь к себе потерпевшего Ефима, он сам пошел к нему в деревню. Пришел и не издалека разговор начал:

— Ворон-птица мне на хвосте весть принесла, что тебе, Ефим, о кобыле погадать хочется.

— Ради чего хочешь, только посправедливее погадай.

— Знамо, я криво не насажу, как есть в руку выложу.

— На чем погадать-то? На бобах аль на угольках?

— Нет, ты, Ефим, отвернись в передний уголок, а я у печки в отдушину послушаю, вот так.

Когда знахарь открыл душник, ветер почему-то свистнул в трубе Ефимовой печи.

А через минуту Федот доложил:

— Нечистая сила прямо на вора не указывает, а говорит, что в семье у вора на трех человек три глаза; вот если отгадаешь эту загадку—и кобылу найдешь.

Сообразивши, Ефим крикнул даже:

— Это у Степки Перевязкина, некому больше: у него мать слепая, сестра кривая, да сам двоеглазый, итого три глаза!

— А лошадь твоя,—продолжал Федот,—под цыганами скачет, о тебе плачет, но ты не тужи, приготовляй упряжку и гужи, лошадь—не иголка, найдется.

В тот же вечер в избе у Степки (у того голова от хмеля освободилась) сидел за столом, скрючившись над протоколом, милиционер.

Обвиняемому дальше ехать некуда; он, насобачив голову, откровенно отвечал на вопросы допрашивавшего его милиционера. Костыгин радовался и дивился способностям знахаря:

— Не голова у него на плечах, а библия настоящая, полная библия! В точку предсказал: — «у вора-то, грит, в семье три человека и на троих только три глаза. Кто, как не Степка, лошадь слямзил!.. Я на него сразу и помекнул.

С ГОРОДСКИХ УЛИЦ

1. «ЗАЯЦ»

Я торопил извозчика скорее довезти меня до станции, чтоб не опоздать на поезд и не мерзнуть зря в дороге. Мороз был самый настоящий, какие морозы бывают на Севере в январе месяце.

Извозчик, подхлестнув лошаденку, заерзал на передней беседке саней, прихлопывая ладонями кожаных рукавиц; очевидно, и его, как меня, холод тоже начал беспокоить, так как, не вылезая из повозки, мы с ним в это утро проехали верст двадцать. Недоезжая верст пять до станции, мы догнали пешехода, укрывшегося от холода в лохмотья какого-то неизвестного платья. Руки у пешехода были спрятаны в рукава, которые болтались ниже колен. Из-под его неуклюжей папахи виднелись бойкие глаза и побелевшее от мороза переносье.

— Дядя, пусти на полозках доехать, — пропищал из-под папахи голос.

— Садись в сани.

И мальчик кубарем, на ходу, прыгнул прямо мне на ноги. Теперь, когда он поднял повыше на голове рваную папаху, я разглядел, что к нам подсел мальчуган лет двенадцати. Кто он такой и куда едет, на стуже интересоваться было неуместно.

На станцию приехали как раз к поезду. В вагоне-теплушке, по-обычному, было накурено, хоть топор вешай. Мальчик, который ехал со мной до станции, сидел тут же у печки и казался веселым, беззаботным малым; он очень обрадовался печке, называемой на языке пассажиров—«буржуйкой».

Как и следовало ожидать, пошел контроль.

— Граждане, билеты ваши предъявите!

В то время, когда пассажиры полезли в карманы за билетами, малыш юркнул от печки под лавку, где я сидел. Растянулся на полу, молчит. Контроль прошел, оставив безбилетного пассажира незамеченным.

Вылезай! Струсил, не попусту вас «зайцами»-то зовут; трусливы, как зайцы,—добродушно заметил один из пассажиров.

«Заяц» недоверчиво посмотрел из-под лавки, проталкиваясь меж ногами пассажиров, начал вылезать.

Он снова повеселел и, садясь на свободное место, почесывая грудь, признался:

— Мне по привычке, чего трусить, езживал; другому с бесплатной провизионкой столько не приходилось ездить.

— Во, да ты, вижу, из молодых да ранний,—проговорил я, не сводя глаз с человека-зайца. А тот, в свою очередь посмотрев на меня, сказал:

— Спасибо—до станции подвезли, а то бы я опоздал.

— Да куда тебе спешить, наверно родина твоя—вся республика советская,—где ни будешь, везде дом родной?

— Не везде; в городе—лучше, в деревне—хуже; и, больше не разговаривая, мальчик

расстегнул свою, неизвестного происхождения одежонку, запел, как-будто про себя начал рассказывать:

... Изообожжен судьбоою,
С молодых, ранних лет
Я остался сиротою,
Счастья-доли мне нет...

Пассажиры из обоих концов вагона сгрудились около распевавшего о своей беспризорной жизни малыша. Кончилась песня, папаха с малыша в грязной его ручонке протянулась к слушавшим песню.

— По копеечке, граждане, еще спою.

Копеечки в папаху сыпались неохотно.

Однако, заяц был не из спесивых; вытряхнув в горсть несколько медяков, он снова запел:

Контроль идет,
Фонарь светится,
Безбилетная шпана
В вагоне бесится.

— Опять про себя, дери его в ноздрю, вот, братцы, жизнь-та у него свободная,—не то с завистью, не то с усмешкой скрытой проговорил какой-то дядя, ехавший из деревни на заработки.

— Да, жизнь тоже...

Поезд незаметно подошел к городу.

Незаметно исчез беспризорный певец. Городская уличная толпа затерла в себе этого маленького человечка, затерла, не видно...

* * *

Того же дня мне пришлось заглянуть на «спекульку».

Обширная рыночная площадь захлебывалась от шатавшейся по ней публики. Люди шумели,

продавали, покупали, другие—брали, охали, кричали, кого-то ловили, свистели. В общем движение базарное. Десятки игроков, с разными безделушками на лотках, старались перекричать весь шумный рынок.

— Любая вещь—пять и десять! пять и десять!

— Тетка Настасья, сыграй для счастья!..

На морозе, уцепившись за рукавицы некоторых крикунов, сидели продрогшие, окрашенные в разный цвет попугаи.

— Попочка, тяни любую вещь!

Попугай послушно для публики за гривенник тянет из корзинки пакет с товаром на сумму от двух до трех копеек...

В стороне за молочницами столпилась куча людей.

Протискиваюсь туда.

Здоровый детина, красный, как помидор, в центре внимания. Он топчется, переминаясь с ноги на ногу, точно солдат по команде «бег на месте»; перед ним бочка, на днище бочки три карты разложены. Орет детина, публику заманивает:

— Эй, вы! подходите, товарищей подводите, карту замечайте, деньги получайте. Кто выиграет—получи, проиграет—не кричи. Раз! два! три!—туза не найти!.. Деньги на бочку, игра в одиночку, с кем угодно, честно и благородно!..

Я стоял, стесненный в кругу таких же любопытных, как сам, и ждал: кто будет у этого шулера испытывать свое счастье? В этот момент вдруг почувствовал у себя в боковом кармане чью-то руку, и, хотя карман был пустой, я все же уцепился за руку незнакомца. Повернувшись, узнал того паренька, что мы с извозчиком везли к станции, и вместе ехали в вагоне.

— Ай, ай, счастья-доли тебе нет!—почему-то язвительно вырвалось у меня,—в пустой карман-то лезешь!

Мальчуган, блеснув на меня взглядом, хотел выругаться, но вдруг смутился, огонек нахальства в его глазах потух, как окурок в луже. Со стороны подталкивать начали,—бить бы его надо,—другие говорят, да не за что.

— Эх, ты, говорю, «заяц» этакий, не делом занимаешься. Попадешь на другого, замутозят тебе хребет, век будешь стонать; ты бы ремеслу учиться искал себе место,—вот это дело складнее, или лучше песнями заработать, чем воровать.

Насупился парень, молчит, а слушает ли—неизвестно.

Разошлись... Мне думалось, что «он кандидат в бандиты, а, может быть, в наркомы кандидат», как сказал один из современных пролетарских поэтов...

* * *

Недавно, в летнюю пору, в том же городе, я услышал знакомый окрик:

— Гражданин, идите, сапожки почищу! Что, не узнали «зайца»? А я теперь по химической отрасли карьеру свою направил; видите, химическая продукция под руками — вакса, крем, гуталин,—подходи, гражданин!..

— А как теперь по карманной части?—спросил я, и неудобно стало; чистильщик отвернул лицо в сторону.

— Никак; помнишь, был «зайцем», нынче зимой стал «фабзайцем», а летом сапоги чищу...

II. БОСОНОЖКИ

Белая июньская ночь спустилась над Вологодой... Погасли огни под асфальтовыми котлами на площади Свободы...

Прозвенел колоколец старикашки-сторожа из Детского сада, извещавшего публику о выходе. Отчетливо топая по мостовым, провалили к домам посетители последних сеансов вологодских киношек. Одна за другой прищурили в окнах огоньки пивнушки, именуемые «Уютами» «Маяками», «барами», «Сильвами», «Крымами», «Серверными оленями» и еще чорт знает как.

Полудремлющие извозчики, понукая своих кляч, наперерыв спешили к пивным заработать «рупь» с подгулявшего пьяного обывателя.

Вот в эту-то ночь, в предутреннюю пору, можно видеть на пыльных улицах города «босоножек», подметающих тротуары и мостовые. Кто они, эти «босоножки», очищающие от пыли к следующему дню городские улицы?...

Это из далеких северных деревень «гражданочки» (как их называют постовые милиционеры), преимущественно молодые девушки, жаждущие заработка в городе.

Вот группа взрослых, осанистых на вид девушек; каждая из них в физическом труде легко заткнет за пояс двух-трех благополучных городских мешанок.

Слышно по выговору, что эти девушки из Кадниковского уезда, где русский родной язык звучит так: «Деука на лауке вереуку вьет», или: «Маци калаци, волоци пенку».

Девушки одеты по-старинке, широкие юбки за пятами обметают пыль (а в городе юбки

выше даже довоенного уровня), и на каждой кофта с поднятыми вверх плечами, в роде эполетов.

Переступая босыми ногами по холодной каменной мостовой, широко размахивая метлами, они поднимают облако пыли так, что если бы их работа была днем, то ни один уличный пешеход за двадцать шагов не подошел бы к труженицам «босоножкам».

Они же не замечают поднимаемой ими пыли и не чувствуют холода от камней под пятнами, хотя у некоторых из них, в целях «режима экономии», сложены около киоска полусапожки. Им голой «лапой» наступить на стекляшку или сшибить ноготь с пальца ноги—ничего не значит, лишь бы полусапожки остались целы...

Июньская ночь спускается глубже над городом. Милиционер на посту около «Текстильторга» дремлет, облокотившись на подоконник; он, вероятно, не замедлил бы уснуть, если бы не ожидал летучей поверки постов со стороны самого грозного начальника ГАО.

«Босоножки» не дремлют; не та, так другая, разгоняя скуку, заливается звонкими девичьим голосом.

Точно на полосе во время жатвы, разносится по безлюдной городской улице простецкая, «задушевная» девичья частушка:

С неба звездочка упала
Прямо к милке на плечо,
До цего доцеловалась.
Стало губам горяцо.

Он ходил да обнимал
В поле пень березовый,
Думал, милая его
В кофте белорозовой...

Тесно, кажется, ихней незамысловатой песенке-частушке, не увязывается она с обстановкой города, отскакивает от лавочных витрин, мостовых и панелей.

Старшая среди девушек десятница объявила перерыв в работе.

— К лешему, спина устала; давай, отдохните, да поешьте у кого-что есть.

Кучей на мостовую легли метлы, освободившись от крепких работающих рук.

— Давайте, где отдохнем-то!?

— Вон там на лауке, где цысы поцинивают.

— Цево бы поесть-то? Машка, у тебя «пикливаный» хлеб есть, дай-ко на сухари сменяем...

Садятся, кто как поудобнее, закусывают. Вспоминают о деревне:

— Дома-то, поди-ко, навоз вывозили, косить начинают?...

Есть из «босоножек» совершенно неграмотные, они по-слепому смотрят на раскрашенные вывески, просят грамотных подруг прочесть им, какие там «буквы-цифры» написаны.

— Худо, ой как худо неуценой-то, — пожаловалась одна деваха—Дашка из Двиницы-Синепупой. — У нас в деревне со мной случай был, — рассказывает Дашка, — в девках не забыть и бабой буду не забуду, и все из-за своей неуцености.

— В чем же ты, Дашка, промахнулась?—стали спрашивать ее соседки.

— А вот в чем, — стеснительно проговорила Дашка и краешком платка прикрыла свой рот. — Попросила я бондыря-Ваньку написать на грамотке словецки по-печятному: *«Свету-пересвету, тайному совету, винограду спелому, кавалеру смелому, кого люблю—тому дарю»*. Эти словца

надо было мне отшить красными нитками на кисете и на паску отдать миленку. А он, дьяволенок, этот Ванька, возьми да матерных слов и напиши, цирей бы ему в руки, А мне поцем знать, вышила слова, да и показала своей подружке; та посмотрела, да,—«ой говорит, с ума ты съехала, что на кисете-то наворотила»?.. да мне по секрету и сказала, что я вышила, а то бы мне где прочитать; я на деньгах, да на безмене, да еще на цясах и разбирают только, на кисете еще цитать не научилась. Взяла я после того кисет, на куски изрубила, а с бондырем-Ванькой теперь и не здороваюсь, наплевала на насмешника. Двадцать годов с хвостиком жила неуценой, и на зиму обуцюсь обязательно, больше десяти букв сейцяс знаю».

«Босоножки», выслушав Дашку, тяжело вздохнули не то за ее, не то за свою, такую же неграмотную участь.

А когда последняя из них прожевала крошки городского «пикливанного» хлеба, опять старшая десятница распорядилась:

— Буде, девки, отдохнули, давайте, довыметаем улицу, смотрите уже светает, черти ночь лукошками расхватали.

Город спокойно спал.

СОДЕРЖАНИЕ

Комбед Турка	
Приказ на красной бумаге	
Клопы	
Соска	
Свой человек	
Три глаза	
С городских улиц	
